

МОСТЫ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

4

1960

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭМИГРАНТОВ ИЗ СССР (ЦОПЭ)

К 100-летию со дня рождения
А. П. ЧЕХОВА



А. П. ЧЕХОВ. С портрета работы П. А. Нилуса, 1902-1903.

ЧЕХОВ И БУНИН

В своем интереснейшем предисловии к книге И. А. Бунина „О Чехове“) М. Алданов пишет:*

«Очень они, как люди, были непохожи друг на друга. И все-таки что-то общее было, помимо огромного таланта. Оба были необыкновенно умны, оба обладали редким почти безошибочным вкусом; ценили они в литературе одно и то же, восторгались одним и тем же, не любили одно и то же. Оба боготворили Толстого и холодно (Иван Алексеевич и просто враждебно) относились к Достоевскому. Оба презирали то, что многие критики начала нашего столетия называли «декадентщиной», они сами — «фокусничеством», а Толстой — «пересоленной карикатурой на глупость».

Об их «сredo» говорить трудно, — не любили они пышных слов. Оба не очень интересовались философскими и религиозными вопросами и говорили о них редко (между собой, вероятно, не говорили никогда). Обоим были чужды люди такого умственного и душевного склада, как, например, Владимир Соловьев или С. Н. Трубецкой. Представить себе Чехова или Бунина на кафедре какого-либо философско-религиозного общества просто невозможно. Часто цитируют слова Чехова: «Мое святое святых это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода». Не очень ясно, — не поймешь, например, что такое «абсолютнейшая свобода», но, если это — сredo, то, пожалуй, Бунин к нему присоединился бы. Он ни к чему не «звал» и не «вел». Тем не менее о политике порою говорил ярко и страстно, особенно когда дело шло о том, что он ненавидел. О Гитлере, о Сталине даже в пору их триумфов говорил открыто с совершенным презрением — и до конца своих дней необычайно восторгался Черчиллем. Его поведение в пору германской оккупации было выше похвал. Он укрывал у себя людей, которым грозила опасность, не напечатал за пять лет в порабощенных странах ни одной строчки, писал письма по тем временам по меньшей мере неосторожные. Я уверен, что так вел бы себя и Чехов, если б дожил. Его тоже часто попрекали в отсутствии полити-

*) Издательство имени Чехова, Нью-Йорк, 1955.

ческих убеждений. Однако чуть ли не единственное чрезвычайно резкое, если не просто грубое, письмо Чехова (с разрывом «даже обыкновенного шапочного знакомства») было им написано В. М. Лаврову, говорившему в «Русской мысли» об его «беспринципности». Отмечу в настоящей книге слова Бунина: «Такого, как Чехов, писателя еще никогда не было! Поездка на Сахалин, книга о нем, работа во время голода и во время холеры, врачебная практика, постройка школ, устройство таганрогской библиотеки, заботы о постановке памятника Петру в родном городе — и все это в течение семи лет при развивающейся смертельной болезни! А его упрекали в беспринципности! Ибо он не принадлежал ни к какой партии и превыше всего ставил творческую свободу, что ему не прощалось, не прощалось долго».

Оба были чрезвычайно независимые люди. Они и в искусстве шли обычно «против течения». Предположение, что хоть одна их страница могла быть написана по «соцзаказу», не вызывает даже улыбки. Но так же мало считались они и с тем, что можно было бы до революции назвать заказом общественного мнения. «Скучная история», «В овраге», «Деревня» были скорее вызовом убеждениям наиболее влиятельных критиков...

Чехов, думаю, не оказал большого художественного влияния на Бунина (уж скорее Тургенев «Поездки в Полесье» и, конечно, Толстой). Любили же они друг друга и как писатели чрезвычайно.

Не всегда они виделись на людях, и не всегда Иван Алексеевич бывал в хорошем настроении (бывал часто блистателен и тогда, когда настроение было плохое). В общем, жизнерадостность у него почти до конца была редкая. О Чехове принято говорить обратное. Он решительно это отрицал: «Какой я нытик? Какой я «хмурый человек», какая я «холодная кровь», — как называют меня критики? Какой я «пессимист»?... «Вот вы говорите, что плакали на моих пьесах... Да и не вы один. А ведь я не для этого их написал, это их Алексеев сделал такими плаксивыми. Я хотел только честно сказать людям: «Посмотрите, как вы все плохо и скучно живете!»

Тут спорить трудно. Шестов называл Чехова беспощадным писателем. Бунин в разговорах высказывался еще много решительнее. М. Курдюмов в своей книге «Сердце смятенное» излагает содержание одного мрачного рассказа Чехова. Иван Алексеевич на полях пишет: «Да, в е д е у него мерзость и ужас». Быть может, сам почувствовал несправедливость своей записи (ведь не «езде», конечно): читая в той же книге о «предельном внутреннем тупике» у Чехова, Бунин писал: «Преувеличение ужасное!» — Не любил всю жизнь преувеличений. Автора «Скучной истории» будто бы мучила участь человека, — И. А. раздраженно подчеркивает слово «мучила» и на той же странице приписывает: «Любил завтраки, обеды, ужины, колбасу Белова». Это, кстати, мог бы написать и сам Чехов;

ему замечание верно понравилось бы. Со всем тем, разница между беспощадностью и «посмотрите, как вы плохо и скучно живете» не так велика, ее и установить трудно, и мало было выдающихся писателей, которые не подвергались бы упреку в «беспощадности», в «черной краске», в «поисках дурного в жизни и в человеческой природе». Правильно говорил Бунин в письме к С. А. Венгерову, напечатанном в начале первого тома его собрания сочинений: «В угоду традициям и благодаря незнанию народной жизни, некоторые неизменно прибавляли, говоря о моих произведениях, касавшихся народа: «а все-таки это не так» — и, никогда не приводя никаких доказательств, отделялись «отрадными» частностями, ссылками на Достоевского, Тютчева или Гл. Успенского и Чехова, хотя Успенского тоже упрекали в «хмуром и желчном пессимизме» и «полном незнании народа», хотя, укоряя меня Чеховым, почти слово в слово повторяли то самое, что говорили Чехову, укоряя его предшественниками его. Все это, конечно, в порядке вещей. О «Мертвых душах» и о «Ревизоре» кричали: «это клевета, это невозможность». Гончарову пришлось выслушать, что он «совершенно не понимает и не знает русского народа». «Преступление и наказание» называли (и не где-нибудь, а в «Современнике») «клеветой на молодое поколение», «дребеденью», «глупым и позорным измышлением, произведением самым жалким». — Забыто тут, что в молодости, после первых его рассказов, критики говорили о Бунине противоположное: нет писателя «более тишайшего, человека более умиротворенного».

«Тишайшим» и «умиротворенным» Иван Алексеевич никак не был. Не был и Чехов. Если бы были возможны и, главное, нужны способы какого-то статистического подсчета добра и зла в жизни, изображенной и не в самых безотрадных их произведениях (о «Палате № 6» или о «Петлистых ушах» не приходится и говорить), он дал бы верно результаты неожиданные, не столь уж отличающиеся от тех, какие дал бы такой же анализ, например, для Гоголя. Не стоит об этом и говорить. Россия поняла, оценила, превознесла Чехова и Бунина, назвала их последними классиками. Что именно оценил по достоинству Запад? У Чехова — большая публика преимущественно театральные пьесы, хотя они хуже его рассказов. Такие же подлинные шедевры, как «Палата № 6», «Скучная история», «Архиерей», «Степь», «Душечка», «Именины» едва ли могли быть поняты широкими массами западных читателей: слишком им чужды быт этих рассказов и даже, в меньшей все же степени, их дух. Не говорю тут о знатоках. Сомерсет Моэм справедливо называет рассказ «Архиерей» «one of the most beautiful and touching of his stories»^{*)}. Также справедливо Беннет говорит, что «Палата № 6» — одно из самых

^{*)} одним из самых прекрасных и трогательных рассказов.

необыкновенных и страшных произведений, когда-либо кем-либо написанных. Однако и он был поражен в этом рассказе преимущественно его обличительной стороной (уж очень слово «обличение» не приложимо к Чехову). Действительно, в Англии, верно, нет таких больниц, как описанная Чеховым; может быть, не было и в чеховское время. Но ведь и в старой России не каждый день врачи попадали в те дома умалишенных, где прежде сами лечили. У Бунина на Западе оценили лучшее, но, кажется, не все лучшее. «Господин из Сан-Франциско» включен во многие антологии мировой литературы. А «Жизнь Арсеньева», одна из самых замечательных книг в русской литературе, переводилась на иностранные языки гораздо меньше.

Разное бывает и мировое признание и не всегда оно прочно. Чехов, наверное, своей славы на Западе и не предвидел. Но он знал себе цену. «Однажды, читая газеты, он поднял лицо и, не спеша, без интонации, сказал: «Все время так: Короленко и Чехов, Потапенко и Чехов, Горький и Чехов», — рассказывает Бунин в своей книге. Да, именно, «Горький и Чехов»...

Надо ли говорить, как драгоценно каждое замечание о Чехове Бунина. Немало восторженных отзывов о нем было и в письмах Ивана Алексеевича ко мне. Из этих писем большая часть (сотни!) погибла в Париже летом 1940 года. Все позднейшие, разумеется, сохранились. Скажу без колебания, что письма Бунина, страстные, часто гневные, полные резких отзывов о нелюбимых им людях, вообще интереснее чеховских, — в них нет «канталупочек» и «собачек» в обращениях, нет «аутского мещанина» или «Царя Мидийского» в подписи, в них гораздо меньше шутовщины, несколько раздражающей при чрезмерном обилии. В письмах ко мне 1940-1953 г. г. есть, кажется, только одно упоминание об Антоне Павловиче — и, в виде исключения, не восторженное: «Я только что прочел книгу В. Ермилова. Очень способный и ловкий... (опускаю одно слово) — так обработал Ч., столько сделал выписок из его произведений, что Ч. оказался совершеннейший большевик и даже «буревестник», не хуже Горького, только другого склада»...

В своей книге Бунин высказался о «Чайке» лестно. Но чеховских пьес вообще не любил, как и Толстой, хотя по другой причине: он говорил, что автор «Вишневого сада» не знал жизни в помещичьих усадьбах. Едва ли это верно: Чехов жил в них подолгу, не один раз (например, в Бабкине, у Киселевых), да и в этом не о б х о д и м о с т и не было. Он во всяком случае знал много больше русских помещиков, чем Иван Алексеевич — американских миллионеров из Сан-Франциско или убийц-садистов вроде Соколовича из «Пеглистых ушей» (а оба рассказа принадлежат у Бунина к самым замечательным). Толстому же драмы Чехова не нравились собственно потому, что в них, по его мнению, не было действия.

Чехов не дожил до лучших произведений Ивана Алексеевича. Тем больше ему чести — что так рано заметил и по достоинству оценил своего младшего годами собрата. В 1900 году (Бунину было тридцать лет) Антон Павлович подарил ему свой портрет с надписью: «Ивану Алексеевичу Бунину с восторгом и благоговением».

С благоговением относился к памяти Чехова и И. А. Бунин. Посылая в 1953 году в один из эмигрантских журналов рассказ „Сны“, он писал:

«Рассказ «Сны» написан мною в конце 1903 г., — полвека тому назад! — сдан был наспех в первый сборник «Знания» и напечатан в нем без моей корректуры, — я был тогда в Ницце, — чем и объясняются многие погрешности этого рассказа в его первой редакции (ныне мною устраненные). Однако, вот что писал о нем Чехов в письме к Амфитеатрову 13 апреля 1904 года, незадолго до своего рокового отъезда за границу:

«Пишу я теперь мало, читаю много. Сегодня читал «Сборник» изд. «Знания», между прочим горьковского «Человека», очень напомнившего мне проповедь молодого попа, безбородого, говорящего на о, прочел там и великолепный рассказ Бунина. Это в самом деле превосходный рассказ, есть места прямо на удивление, и я рекомендую его Вашему вниманию».

Я узнал об этом отзыве Чехова совсем недавно — из сборника чеховских сочинений и писем, вышедшего в Москве тоже сравнительно недавно. Узнал, конечно, с большой радостью».

В книге о Чехове, закончить которую помешала ему смерть, И. А. Бунин добавил много нового, чрезвычайно интересного и ценного, к ранее опубликованным в эмиграции воспоминаниям). Вот несколько фрагментов из этой книги:*

«Слова за последнее время стали очень дешевы. И хорошие и дурные слова произносятся теперь с удивительной легкостью и лживостью. Но, кажется, чаще всего так говорят об умерших. Очень много легкости, лжи, неточностей, а порой — просто скудоумия можно встретить и в воспоминаниях о Чехове. Пишут, например, что Чехов поехал на Сахалин затем, чтобы поддержать репутацию «серьезного» человека, и в дороге так простудился, что нажил чахотку... Пи-

*) См. т. 10-й Собрания сочинений И. А. Бунина, Петрополис, 1935, откуда эти воспоминания перепечатаны также в пятом (последнем) томе Собрания сочинений И. А. Бунина изд-ва «Правда», Москва, 1956, стр. 265-281.

шут, что смерть Чехова была ускорена постановкой «Вишневого сада»; накануне спектакля Чехов будто бы так волновался, так боялся, что пьеса его не понравится, что всю ночь бредил. . . Все это сущий вздор. На Сахалин Чехов поехал потому, что его интересовал Сахалин, и еще потому, что в путешествии он хотел встряхнуться после смерти брата Николая, талантливого художника. И чухотку он нажил не в Сибири, — а уже в 1884 году у него было кровохарканье в декабре после «Скопинского дела», — хотя, несомненно, что ездить ему не следовало: взять бы этот страшно тяжелый двухмесячный путь на перекладных, ранней весной, в дождь и холод, почти без сна и положительно на пище св. Антония, из-за дикости сибирских трактов! А что до волнений о «Вишневом саду». . . Пишущие, конечно, очень чувствительны к тому, что говорят о них, и много, много в пишущих чувствительности жалкой, мелкой, неврастенической. Но как все это далеко от такого большого и сильного человека, как Чехов! Ибо кто с таким мужеством следовал велениям своего сердца, а не велениям толпы, как он? Кто умел так, как он, скрывать ту острую боль, которую причиняет человеческому уму человеческая глупость? Известен только один вечер, когда Чехов был явно потрясен неудачей, — вечер постановки «Чайки» в Петербурге. Но с тех пор много воды утекло. . . Да и кто мог знать, волнуется он или нет? Того, что совершалось в глубине его души, никогда не знали во всей полноте даже самые близкие ему люди. А что же сказать о посторонних и особенно о тех не чутких и не умных, к откровенности с которыми Чехов был органически не способен?

Мальчиком Чехов был, по словам его школьного товарища Сергеевко, «вялым увальнем с лунообразным лицом». Я, судя по портретам и по рассказам родных Чехова, представляю себе его иначе. И лицо у него было не «лунообразное», а просто — большое, очень умное и очень спокойное. Вот это-то спокойствие и дало, вероятно, повод считать мальчика Чехова «увальнем», — спокойствие, а отнюдь не вялость, которой у Чехова никогда не было — даже в последние годы. Но и спокойствие это было, мне кажется, особенное — спокойствие мальчика, в котором зрели большие силы, редкая наблюдательность и редкий юмор. Да и как, в противном случае, согласовать слова Сергеевко с рассказами матери и братьев Чехова о том, что в детстве «Антоша» был неистощим на выдумки, которые заставляли хохотать до слез даже сурового в ту пору Павла Егоровича! В юности — в те счастливые дни, когда ему доставляло наслаждение проектировать такие произведения, как «Искусственное разведение ежей», — руководство для сельских хозяев, — это спокойствие как бы потонуло в пышном расцвете прирожденной Чехову жизнерадостности: все, кто знали его в эту пору, говорят о неотразимом очаровании его веселости, красоты его открытого, про-

стого лица и его лучистых глаз. Но годы шли, дух и мысль становились глубже и прозорливее — и Чехов снова овладел собой. Это было время, когда он, смело отдав дань молодости, первым непосредственным проявлениям своей богатой натуры, уже приступил к суровому в своей художественной неподкупности изображению действительности. И мои первые встречи с ним относятся именно к этому времени.

Он любил смех, но смеялся своим милым, заразительным смехом только тогда, когда кто-нибудь другой рассказывал что-нибудь смешное; сам он говорил самые смешные вещи без малейшей улыбки. Он очень любил шутки, нелепые прозвища, мистификации; в последние годы, как только ему хоть ненадолго становилось лучше, он был неистощим на них; но каким тонким комизмом вызывал он неудержимый смех! Бросит два-три слова, лукаво блеснет глазом поверх пенсне... А его письма! Сколько милых шуток было в них всегда, при их совершенно спокойной форме! «Милый Иван Алексеевич, стало быть, позвольте на Страстной ждать Вас. Непременно обязательно приезжайте, у нас будет очень много закусок, к тому же в Ялте такая теплынь теперь, столько цветов! Приезжайте, сделайте милость! Жениться я раздумал, не желаю, но все же, если Вам покажется скучно, то я, так и быть уж, пожалуй, женюсь...» (25 марта 1901 года).

«Дорогой Иван Алексеевич, завтра уезжаю в Ялту, куда и прошу написать мне поздравление с законным браком... Желаю Вам всего хорошего-с, будьте здоровы-с. Ваш А. Чехов, аутский меццанин». (30 июня 1901 г.).

Все, что совершалось в литературном мире, было очень близко его сердцу, и много волнений пережил он среди той глупости, лжи, манерности и фокусничества, которые столь пышно цветут теперь в литературе. Но никогда я не замечал в его волнениях мелочной раздражительности, и никогда не примешивал он к ним личных чувств. Почти про всех умерших писателей говорят, что они радовались чужому успеху, что они были чужды самолюбия, и поэтому, если бы у меня была хоть тень сомнения относительно писательского самолюбия Чехова, я совсем не затронул бы вопроса о самолюбии. Но он действительно радовался от всего сердца всякому таланту, и не мог не радоваться: слово «бездарность» было, кажется, наивысшей бранью в его устах. К своим же успехам и неудачам он относился так, как мог относиться только он один.

Он работал почти 25 лет, и сколько плоских и грубых упреков выслушал он за это время! Один из самых величайших и деликатнейших русских поэтов, он никогда не говорил языком проповедника. А можно ли при этом рассчитывать на понимание и благосклонность критики в России? Ведь требовали же от Левитана, чтобы он «оживил» пейзаж... подрисовал коровку, гусей или женскую

фигуру! И, конечно, не сладко было Чехову иметь таких критиков, и много горечи они влили в его душу, и без того отравленную русской жизнью. И горечь эта сказывалась, но опять-таки только сказывалась.

— Да, Антон Павлович, вот скоро и юбилей вам будем праздновать!

— Знаю-с я эти юбилеи. Бранят человека двадцать пять лет на все корки, а потом дарят гусиное перо из алюминия и целый день несут над ним, со слезами и поцелуями, восторженную ахинею!

...В январе 1901 г. я все еще жил у Чеховых. Сохранилась у меня даже запись тех времен:

Крым, зима 1901 г. на даче Чехова.

Чайки, как картонные, как яичная скорлупа, как поплавки, возле клонящейся лодки. Пена как шампанское.

Провалы в облаках — там какая-то дивная неземная страна. Скалы известково-серые, как птичий помет. Бакланы. Су-Ук-Су. Кучукой. Шум внизу, солнечное поле в море, собака пустынно лает. Море серо-лиловое, зеркальное, очень высоко поднимающееся. Крупа, находит облака.

Красавица Березина (!).

Очень интересный разговор произошел в имении Морозова между Чеховым и Серебровым (Тихоновым). Тихонов был в то время студентом Горного института и работал, как тогда говорилось, на практике.

У меня было чувство, что, когда я передавал некоторые мнения и суждения Чехова, то многие думали, что я приписываю ему свое, поэтому мне было очень приятно прочесть воспоминания Сереброва, которые подтверждают то, что и мне много раз высказывал Антон Павлович. На Урале он, вероятно, был слишком откровенен потому, что это было перед сильным горловым кровотечением.

«Вечером Чехов пригласил меня пить чай на террасу... — рассказывает Серебров. — Речь зашла о Горьком. Тема была легкая. Я знал, что Чехов любит и ценит Горького, и не поскупился на похвалы автору «Буревестника».

— Извините... Я не понимаю... — оборвал меня Чехов с неприятной вежливостью человека, которому наступили на ногу. — Вам вот всем нравится его «Буревестник» и «Песнь о соколе»... Знаю, вы мне скажете — политика! Но какая же это политика? «Вперед без страха и сомненья!» — это еще не политика. А куда вперед — неизвестно?! Если ты зовешь вперед, надо указать цель,

См. на обороте



Я с Чеховым в его на-
бине в Ялте в 1902 г.
Полька!

А. П. ЧЕХОВ и И. А. БУНИН

Фотография, предоставленная редакции Л. Д. Ржевским. Продолже-
ние надписи И. А. Бунина на обороте: «Чехов часто просил меня
«сыграть» кого-нибудь, и я делал вид, напр., пьяного и «жаловался
на семейную жизнь», и он хохотал от всей души. Ив. Бунин».

дорогу, средства. Одним «безумством храбрых» в политике ничего еще не делалось.

От изумления я обжегся глотком чая.

— Море смеялось, — продолжал Чехов, нервно покручивая шнурок от пенсне. — Вы, конечно, в восторге!.. Вот вы прочитали «море смеялось», остановились. Вы думаете, остановились потому, что это хорошо, художественно. Да нет же! Вы остановились потому, что сразу не поняли, как это так: море — и вдруг смеется?.. Море не смеется, не плачет, оно шумит, плещется, сверкает... Посмотрите у Толстого: солнце всходит, солнце заходит... птички поют... Никто не рыдает и не смеется. А ведь это и есть самое главное — простота...

— Вот вы ссылаетесь на «Фому Гордеева», — продолжал он, сжимая около глаз гусиные лапки морщин. — И опять неудачно! Он весь по прямой линии, на одном герое построен... И все персонажи говорят одинаково на «о»... Романы умели писать только дворяне. Нашему брату — мецанам, разнолюду — роман уже не под силу... Вот скворешники строить, на это мы горазды. Недавно я видел один такой: трехэтажный, двенадцать окошечек!.. Чтобы строить роман, необходимо хорошо знать закон симметрии и равновесия масс. Роман — это целый дворец, и надо, чтобы читатель чувствовал себя в нем свободно, не удивлялся бы и не скучал, как в музее. Иногда надо дать читателю отдохнуть и от героя, и от автора. Для этого годится пейзаж, что-нибудь смешное, новая завязка, новые лица... Сколько раз я говорил об этом Горькому, не слушает... Гордый он — а не Горький.

С Горьким мне явно не повезло. Я попробовал отыграться на «Художественном театре».

— Ничего — театр, как театр, — опять погасил мои восторги Чехов. — А Москвин — даже талантливый. В других театрах и этого нет. Я помню, в Александринском театре ставили мою «Чайку». Под суфлера! Боже мой, что только они там говорили!..

Как утопающий за соломинку, я ухватился за «декадентов», которых считал новым течением в литературе.

— Никаких декадентов нет и не было, — безжалостно доканал меня Чехов. — Откуда вы их взяли?.. Во Франции Мопассан, а у нас — я стал писать маленькие рассказы, вот и все новое направление в литературе... Жулики они, а не декаденты! Гнилым товаром торгуют... мистика и всякая чертовщина! Это все они нарочно выдумали. Вы им не верьте. И ноги у них вовсе не бледные, а такие же волосатые, как у всех...

— Ну какой же Леонид Андреев писатель? Это просто помощник присяжного поверенного, который ужасно любит говорить...

— Студенты бунтуют, чтобы прослыть героями и легче ухаживать за барышнями...»

В письме к О. Л. Книппер от 20 февраля он пишет: «Здесь Бунин, который, к счастью, бывает у меня каждый день». А 23 февраля ей же: «Был Бунин здесь, теперь он уехал, и я — один».

После моего отъезда мы изредка переписывались. В письме от 14 марта он возмущается «Скорпионом»: «От «Скорпиона» получил корректуру, в крайне неряшливом виде; с одной копеечной маркой, так что пришлось штраф платить; публикует «Скорпион» о своей книге тоже неряшливо, выставя меня первым — и я, прочитав это объявление в «Русских ведомостях», дал себе клятву больше уже никогда не ведаться ни со скорпионами, ни с крокодилами, ни с ужами.

А когда увидимся? После Пасхи, вероятно, приеду в Москву ненадолго, остановлюсь в „Дрездене“».

Я получил от 25 марта 1901 г. письмо от Антона Павловича, где он просит, чтобы скульптор Эдварс, мой приятель, который хотел его лепить, отложил сеансы до сентября.

«Идет дождь. Чудесный дождь. Бабушка и Арсений благодарят за поклон и за память о них, а мать была расстрогана».

Неожиданно для него приехала на Страстной Ольга Леонардовна. Приехал и я. Чехов в эти дни был особенно оживлен, чувствовал он себя хорошо. Был в Ялте и Куприн.

Чехов и при Ольге Леонардовне настаивал, чтобы я проводил все дни у него.

Часто я уезжал поздно вечером, и он говорил:

— Приезжайте завтра пораньше.

Он на некоторых буквах шепелявил, голос у него был глуховатый, и часто говорил он без оттенков, как бы бормоча: трудно было иногда понять, серьезно ли говорил он. И я порой отказывался. Он сбрасывал пенсне, прикладывая руки к сердцу, с едва уловимой улыбкой на бледных губах, отдельно повторял:

— Ну, убедительно прошу вас, господин маркиз Букишон! Если вам будет скучно со старым забытым писателем, посидите с Машей, с мамашей, которая влюблена в вас, с венгеркой Книппшиц... Будем говорить о литературе...

После отъезда Ольги Леонардовны мы втроем, Марья Павловна, Антон Павлович и я, поехали в Су-Ук-Су, где очень весело завтракали, я тоже хотел платить, но Чехов сказал, что мы рассчитаемся дома, — он подаст счет; и подал шуточный:

Счет господину Букишону (французскому депутату и маркизу).

Израсходовано на вас:

1 переднее место у извозчика	5 р.
5 бычков а ла фам о натюрель	1 р. 50 к.
1 бутылка вина экстра сек.	2 р. 75 к.
4 рюмки водки	1 р. 20 к.
1 филей	2 р.
2 шашлыка из барашка	2 р.
2 барашка	2 р.
Салат тирбушон	1 р.
Кофей	2 р.
Прочее	11 р.
Итого	27 р. 75 к.

С почтением Антон и Марья Чеховы, домовладельцы.

Букишоном он стал называть меня потому, что в какой-то газете он увидел портрет какого-то маркиза, который был на меня похож».

О дружбе Чехова и Бунина рассказывает в своей недавно вышедшей книге „Жизнь Бунина“ и В. Н. Муромцева-Бунина:

«В декабре*) в Москву приехал Чехов, и Иван Алексеевич бывал у него каждый вечер, просиживал «далеко за полночь». В эти ночные бдения они особенно сблизились. Чехов рассказывал ему о своих братьях, Иван Алексеевич кое-что тоже поведал ему из хроники своей семьи. Антону Павловичу, вероятно, было тяжело, что он болен и лишен возможности принимать участие в развлечениях жены, но никогда об этом он даже не намекнул. А она в ту зиму жила полной жизнью, домой возвращалась поздно.

Шли репетиции «Вишневого сада», Чехов жаловался, что режиссеры делают из его комедии драму, что многое, что там написано, совершенно не подходит к драме, и все повторял: «Уверю вас, ни Алексеев, ни Немирович толком не прочли пьесы, а ставят то, что им самим хочется, уверю вас, актеры отстают в развитии на целых семьдесят пять лет...»

Среди беспорядочной жизни Иван Алексеевич закончил два рассказа «Сны» и «Золотое дно» и, озаглавив их «Чернозем», передал для первого сборника «Знания». Получив за них аванс и прибавив

*) 1903 год.

его к тому, что собрал в Петербурге, уехал с Найденовым 24 декабря за границу.

Это было его любимое — быть под великие праздники в пути. . .

Он не был на Ривьере, не знал Италии.

Доктора послали Чехова на курорт Баденвейлер. Он с Иваном Алексеевичем изредка переписывался. Последнее известие было успокоительное: Антон Павлович заказал себе белый костюм, так как во всей Европе наступила нестерпимая жара.

В начале июля Бунин поехал на почту в Лукьяново. Заехал к кузнецу, чтобы перековать лошадь, сел на порог кузни и развернул газету: «и вдруг точно бритва полоснула мне по сердцу. . .»

Домой вернулся поздно. Ездил по вечерней заре среди хлебов, уже начинавших золотиться и плакал, плакал. . . Конечно, писать он бросил.

Действительно, потеря для него была большая. Единственный из писателей, Чехов по-настоящему был с ним близок, любил его и ценил; Иван Алексеевич чувствовал это, и сам питал к нему восхищенную любовь.

Вернувшись в деревню, он осел у Пушечниковых. Вскоре после его возвращения пришло письмо из «Знания»: писатели затеяли сборник памяти Чехова. Он принялся писать воспоминания об Антоне Павловиче, но не дописал, поехал в Москву, где и окончил. Читал их осенью в «Обществе Российской Словесности».

Перед смертью ему попалась эта книга «Сборник памяти Чехова». Он прочел первую свою редакцию воспоминаний и написал на книге:

«Написано сторяча, плохо и кое-где совсем неверно, благодаря Марье Павловне, давшей мне, по мещанской стыдливости, это неверное».

Перечитал и весь сборник. На первом месте стоят стихи Скитальца. Иван Алексеевич руками развел, перечитав их: «Как же Горький мог напечатать подобные вирши? . . — восклицал он, — ума не приложу! . .»

Вот некоторые строфы:

ПАМЯТИ ЧЕХОВА

Неумолимый рок унес его в могилу.

Болезнь тяжелая туда его свела.

Она была в груди и всюду с ним ходила:

Вся жизнь страны родной — болезнь его была.

И еще четыре подобных строфы, а в шестой, особенно смешившей Ивана Алексеевича, было:

И поздно понятый, судимый так напрасно,
Он умер оттого, что слишком жизнь бедна,
Что люди на земле и грубы и несчастны,
Что стонет под ярмом родная сторона...

— Не понимаю, — повторял Иван Алексеевич, — как Горький допустил это стихотворение? Или, может быть, это было сделано без его ведома? Хотя, как могли без него поставить на первое место?.. Это пошлее устричного вагона... Впрочем, может быть, потому гроб поставили в устричный вагон, что там был холодильник?.. Забыли только снять надпись...

Под стихами Скитальца стоит краткая, но сильная оценка Ивана Алексеевича этого виршеплета.

Смерть Чехова потрясла всех, кто имел отношение к литературе, и его читателей. Жалели его, как больного: понимали его тоску в одинокие зимние вечера в опустевшей Ялте, когда ему так хотелось быть с женой в Москве, где ставились его пьесы, имевшие шумный успех...»